

МИХАИЛ УСОВ ✓

В Горькой Балке

из документальной повести

ЗАПЕВКА АВТОРА

Ничто здесь не придумано мною. Есть такая балка — Горькая. Чуть приметная степная долина с некрутыми, пологими склонами. Есть колхоз «Коммунистический маяк» — его основали еще в 1920 году. Есть, конечно, ребяташки. Где их нет? Бегают гурьбой они в школу. Сначала первоклассниками, или по-местному — первочатами. Их с головой укрывала пшеница, а кукуруза, подсолнечник были для них — что лес. Но та же кукуруза вырастает из малого зерна. Подрастали незаметно для глаза и ребяташки. Обгоняли своим ростом пшеницу, а там и кукурузу, подсолнечник. Догоняли отцов и матерей.

Но об этом ты узнаешь, прочитав все, что идет за этой заповкой.

ГЛАВА I СТЕПЬ ЗА ОГРАДОЙ

Степь начиналась у хат, за оградой. Сизые кустики полынка неистребимо держались возле этих оград, от них точился пряный с горчинкой дух. Его не выдували ветры, с ним не могли сладить морозы и снега. Стоило пригреть еще по-зимнему низкому солнцу — от полынка горчило воздух.

За дорогой по окрайку села начиналась паханая земля. Одни старики да старухи помнили эту землю незапаханной «толокой». С зорьки до зорьки толкалась, паслась по ней скотина. Теперь же от той зорьки до зорьки гудом гудели тяжелые тракторы, нескончаемо бежали ребристые ленты стальных гусениц. То сцеп многолемешных плугов, то сеялок неотступно следовал за трактором. Но поля, уходящие за взгорок, звались все так же — степью, а пологая балка — Горькой.

Почему же Горькой? Такого вопроса не задавали себе ребяташки, переступив порог школы.

С этим вопросом не тянули рук к

учителю Кирпиченко, к учительнице Юлии Петровне, к директору школы Мире Сергеевне. Не приставали дома к своим родителям. Их больше занимал новехонький, без царапинки, ученический портфель — первый в их руках, с букварем и тетрадками в три линейки и в крупную клетку. Первая для письма, вторая — по арифметике. «Дывысь! — совали они раскрытые буквари с картинками. — Що цэ, кажы?.. Ни!.. Не знае. Слухай мени». И, слушая их торопливые, запальчивые голоса, думал Кирпиченко, думала Юлия Петровна: «Ну, как приучить таких к правильной русской речи? На уроке одно, а дома, на улице — другое».

Здесь, в первом, во втором, в третьем классе, начинали выказываться черты будущего характера. С годами они крепили.

Миша Письменный, едва выбежит на перемену, уже толкнет того, щелкнет другого, подбивает мальчишек на «войну». Глядь — разделились на «красных», на «белых», и пошло, и пошло... Что тут беготни, что тут крику! А Миша больше всех старается. На того наскочил, на этого, руку вскинул — тах-тах! «Я тоби убив и тоби!» — кричит, а от самого жаром пышет. И понесся дальше храбрец. У классной же доски робел до того, что не мог вымолвить слова. Даже подсказки не помогали. Все домашние задания по арифметике списывал у ребят. Не лучше было у него с русским языком. Хотя и прилагал силы Миша. «Балакаемо так, а пишимо этак», — сокрушался озадаченный премудростями языка.

А вот Коля Акенфиев на все увещевания учиться отвечал с бурсацкой флегмой: «Та не хочу, и все!» Его одноклассники торопятся в класс, а он, смотря по сезону, то растянется на свежей апрельской травке, греется, как сытый кот на солнце, то заберется в летний пруд — его оттуда ничем не выманишь, никаким калачом. «Тогда отправлялся бы ты домой», — отчаявшись привлечь его в школу, предлагали Коле.

На это следовал ответ: «Пиду, як вси ребята пидут, не то мамка побье».

Валерий Козлов с боязливым почтением взирал на верзилу-третьеклассника Акенфиева: как же, старшой! Валерик всего-то первачок, с азбукой лишь справляется. Но в четвертом классе он догнал Акенфиева, по-прежнему равнодушно к школьным премудростям, вечного второгодника.

К этому времени Валерик подскочил, как говорят, в росте, обогнал на целую голову Акенфиева. Не по летам был Валерик рассудителен, а ученье ставил превыше всего. Сядет за парту — глаза на учительницу. Куда она, туда его глаза. Юлия Петровна от классной доски, от своего стола идет к задней парте, — за нею, вытягивая шею, поворачивается детская голова. Так подсолнечник еще зеленым ростком на пашне тянется за солнцем: куда светило, туда росток, с восхода до заката.

Ответить на вопрос учительницы или учителя, да не как-нибудь, лишь бы ответить, а лучше всех в классе, — стало постоянным желанием Валерика. Это он почувствовал еще в первом классе, подняв руку и не сводя заблестевших глаз с учителя Кирпиченко. И нетерпение — эх, скорее бы заметил, скорее бы вызвал! — и подспудный страх томили его, заставляли то замирать, то ерзать на сиденье.

А тут еще в одно время с Валериком вскинет над партой свою руку Люба Куц, рыжеватая с конопельками вокруг носа бойкая девчушка. Будто не замечая поднятой мальчишеской руки, не взглянув и мельком на Валерика, она положила локоть на парту, а тонкую руку с пятью сложенными пальцами тянет вверх.

Повелось у них — Валерика и Любы — негласное оспаривание первенства в классе. Чем ни займутся — чтением ли, письмом, счетом, — оба следят друг за другом, из всех сил стараются и прочесть вслух лучше, погромче, побойчее, выразительнее, и чисто, без клякс, выписать слова и предложения на белом тетрадном листе, и в счете не ошибиться. За домашние уроки усядутся — и тут припомнят один другого, еще усерднее за учебники возьмутся. «Все равно лучше отвечу, вот все равно!» — твердила упрямо Люба. А Валерик себе тот же зарок дает — не поддаваться девчонке, утереть ей конопляный нос.

Были и другие девчонки, кто в ученье не уступали ребятам, тому же Валерику Козлову. Но первенство в классе оспаривали двое — Люба и Валерик. Это подтягивало не только их, делало ученье более осмысленным и

острым. Кому-то это давалось с трудом, с дополнительной затратой времени, а такие, как Зоя Болотова, что называется, брали знания с лету. Вроде не засиживается Зоя за столом, не тратит долгие часы на домашние задания, а у классной доски так и сыплет словами, так и постукивает твердым мелком по черной доске. Легко, без чрезмерных усилий, давались ей знания, весело приносила она домой табель успеваемости.

Глянув на дочку, приспускал брови Владимир Петрович, старался не распустить по лицу смешинок, а они паутинками морщинок скапливались у глаз, дрожали по уголкам рта, у губ. «Побачимо-побачимо, шо ты, Зойка, заробыла у своих учительек», — с этими словами брал он в руки табель, шуршал раскрываемой бумагой, заглядывал на четко вписанные отметки и, не выдержав напускной отцовской суровости, расплывался в широкой улыбке: «Молодец, Зойка!»

В эту скупую отцовскую похвалу вкладывал он многое. И учится дочка охотно, без понуканий, без вызова родителей в школу. И себя, и подружек не давала в обиду Зоя. Самые задиристые из мальчишек лишь пошумят, погрозят, да и разойдутся кто куда. Знали про Зойкины кулачки, — крепкие они у нее, не один задира испытал их на себе.

Раз как-то всполошилась Зоя, не знала, что делать. Но тогда все девчонки растерялись. Да, признаться, и мальчишки не меньше. А вышло так, когда они уже учились в пятом или шестом классе.

С минуты на минуту должен был начаться урок математики. Класс подтянулся, все готовы были к появлению учителя Ивана Семеновича Пожарского. Ученики уважали его за строгую требовательность и познания, даже в мыслях не допускали каких-либо вольностей на его уроке. «Идет!» — предостерегающе подал голос дежурный по классу и шмыгнул от двери на свое место. Все дружно встали из-за парт. «Здравствуйте!» — как всегда, приветствовал ребят учитель математики. — «Садитесь».

И вдруг среди полной тишины, когда слышно даже человеческое дыхание, что-то отчаянно взвизгнуло под партами. Девчонки как вскрикнули с перепугу, да кто куда: бегут к учителю, на скамейки вскакивают, друг за дружку хватаются. Ребята тоже повскакивали, выжидающе смотрят на Ивана Семеновича. А учитель нахмурился, резче у него на лбу очертились морщины, словно их резцом углубили.

Все замолчали, замерли.

Вслед за визгом из-под парт понеслось жалобное мяуканье. Те ребята, кто был поближе к месту, откуда несло это мяуканье, сразу же заглянули под парты. Вот они вытаскивают двух маленьких взъерошенных котят, вытянув руки, показывают виновников переполоха Ивану Семеновичу. На лицах у ребят еще не исчезли растерянность и недоумение, а уже вовсю брызжет смех — в улыбке, блеске глаз, взлете бровей.

По-прежнему жестко, не улыбочиво лицо учителя, не разглаживаются морщины на лбу, сурово-осуждающе смотрит на всех в классе Иван Семенович. Не спросил он, кто принес котят, не приказал назвать виновника, не пустился на его розыски.

«На уроке математики такое безобразие, — начал он, не повышая голоса, — а глаза смотрят на всех, на каждого, и осуждают и жалеют. — Оторвать дорогое время от ученья, от урока. Не ожидал от вас, никак не ожидал. Выходит, вы, как необожженные кирпичики — положиться на вас нельзя, завалитесь, испортите дело».

Тот же сурово-осуждающий взгляд учителя приковывает к себе взгляды ребят, держит в своей власти.

— А вы не те, какими были еще совсем недавно, — и закончил просто. — Вы становитесь большими».

Только всего и сказал классу, а каждый из учеников от этих слов, от этих глаз учителя внутренне подрос и возмужал.

«Больше не будет!» — со всей искренностью вырвалось у ребят, у всего класса. Сам виновник этого происшествия Ваня Мигин, по прозвищу Звонк, почувствовал всю нелепость, всю ненужность своей глупой затеи. Это он, таясь ото всех, принес в ученическом портфеле пару маленьких котят. В самую последнюю минуту, когда, войдя в класс, учитель поздоровался со всеми, вытряхнул перепуганных котят из портфеля под ноги товарищей, стоящих впереди за партой.

Не одна грубая шалость, вредная затея числились за Ваней. Шла за ним худая слава. Кажется, еще не заняв свое место за партой, пристрастился он к курению. От него, от мальчугана, так и разлило смрадным табачным перегаром. Он не гнушался подхватить слюнявый окурок из-под ног, назойливо выпрашивал у парней докурить, потихоньку потаскивал табак где мог. Его поколачивали, отгоняли, как надоедливую муху, — это не помогло Ване отрешиться от пагубного влечения. Его отсылали из школы за родителями, — и это не подействовало нисколько.

Так и махнули на него рукой.

ГЛАВА 2 ВЗРЫВ В СЕЛЕ

Степь всегда была рядом. В какую сторону ни повернись — только она, пологая, распаханная, мягко отчерченная синим горизонтом.

Сюда, в степь, на поля, на фермы, уходили отцы и матери, старшие братья и сестры. Часто до зари, потемну. Возвращались они не скоро. С ними в хаты входили запахи машинного масла и керосина, солярки, чего-то железного и чего-то очень земляного, что источает прорезанная лемехами почва с влажными комьями, тонкими прожилками корешков и корней. Не то приносили в хаты духмяно-пыльный запах соломы, нагретого солнцем зерна, пшеничного хлеба. Не то парного молока, коровьей кожи и шерсти, скотского пота.

Подрастая, ребята сами приносили с собой эти запахи. То требовалось повыдергать желтую сурепку или колкий осот на пшеничном поле, то поработать тяпкой, то подобрать колоски, оброненные на стерне, а там, смотришь, становились прицепщиками на весенней пахоте, копнильщиками на тележке за комбайном. Выпасывали ягнят в сакманах и, в отличие от чабанов, звались сакманщиками, хватало дела в колхозе и для ребячьих и девчоночьих рук. Не для маникюра подрастали эти руки.

Еще не все окопы, не все блиндажи, оставшиеся после войны, были запаханы. Федор Никандрович Соломщенко пашет в предзимье, продрогнет вконец, не стерпит — остановит трактор в борозде, отпустит посиневшего прицепщика домой, к мамке, а сам по-медвежьи завалится в блиндаж, как в берлогу. Надеялся: сюда хоть ветер не знает дорогу, не будет отнимать остатки тепла у стынущего тела.

Сперва, и верно, в блиндаже казалось если не тепло, то затишнее. Но промерзшее земляное убежище, без печного жара, не обогревало. Окаянный холод исподволь, минута за минутой, отнимал и то малое, что еще теплилось в Федоре Никандровиче. «Хорошо, что парнишку отпустил, недолго тут окоченеть», — скажет ли для себя, иль подумает тракторист.

Крепко спят ребята, не зная снов. Лишь беспамятно, не осознавая этого, натянута на голову одеяло, а то собьют его прыткими

ногами к задней спинке кровати.

Под утро сильнее обычного похолодает в хате. Затрещит печное пламя, загудит в полный голос. «На снег, на мороз!» — всего-то и скажет мать, но в голосе ее такое возбуждение, столько радости, что вздрогнет всем телом и сразу вскинется на постели разомлевший от долгого сна мальчуган. Сядет, ошалело глядит на мать, будто видя ее впервые: «Снег?» — охрипло обратится к ней и тут же метнет взгляд к необычно светлому окну. «Зима-а!»

Удержи его теперь в хате!

Вчера до порога стлалась грязь, истолканная сапогами и копытами. От оград до оград, на всю ширину улицы, виляли глубоко вдавленные колесами колеи телег, грузовых автомашин.

Только ребристые поперечные отметины тракторов лежали посредине улицы, уходили за околицу. И ничего этого сейчас нет. Чуть притоптанный у порога, а дальше не тронутый даже пальцем, всюду и на всем лежал белейший снег-первак. Любая веточка опушена снегом. Бурьян не узнать: вместо бурых лохм — белые пушистые заячьи лапки, ушки. Пологая степь с озимыми полями, с Горькой балкой, припорошенные на сколько их видел глаз, словно еще стали ниже, Ни одна горка не приподнималась. Снег, казалось, вбирал в себя малейшие звуки. Ничто не нарушало зимнее степное безмолвие. Печные дымы, медленно поднимаясь над хатами, усиливали это безмолвие.

«Тихо-тихесенько, як на том на северном море, шо подо льдом», — негромко, сдерживая голос, выдыхает Сашка Чухно. Он был в том возрасте, когда угловатость подростка начинает сменяться физическим расцветом юноши. Рослый, в своего батьку Петра Васильевича, он так же раздался в плечах, держал их легко и весело. Ничто не сгибалось этих молодецких плеч, не сутулило спину. Жизнь стелила перед ним пути-дороги. Из всех выбрали острые его глаза самую заветную путь-дорожку, пролегла она прямо через горячее молодое сердце, околдовала парня, позвала-поманила за собой, не отпускает больше от себя. Вот и сейчас, в первый снежный день, глядит Сашка на эту степь, на эти поля, посмотренные и исхоженные, а видит свое, заветное: далекое-далекое северное море, скованное белыми льдами, — просторное, немеряное, сливающееся где-то с белесольдистым небосводом.

«Подо льдом, — шевельнул губами. Не поворачивая головы, окликнул дружка,

стоящего рядом. — Чуешь, Олег?» И не столько увидел, сколько почувствовал, — качнул согласно его дружок головой, а смотрит туда же, куда и Сашка, — на запорошенную, белым-белую степь...

Подходила, наконец, та волнующе-радостная пора, когда пшеница две недели колосится, две недели цветет, две недели наливают, зреет, становится урожаем — зерном, хлебом. Мягко-зеленая, ласково шумящая поначалу, пшеница едва приметно белела своим колосом, сеялась в ветер и безветрие зелено-желтой пылью, — неприметно свершалось таинство оплодотворения. И вот он, колос, туго налитый соком! Прозрачный в первые дни, текучий и неуловимый, как ртуть. Лишь одного желает, об одном жарко просит хлебороб — тихого дня да тихой ночи, чтобы не примчались с мглистого востока ветры-суховеи, не выпили бы своими пылающими губами сок, еще не ставший пшеничным зерном. Если примчится суховея, — иссушит, испепелит колос, не удержит ему драгоценную ношу. Враз истончает, обессилит колос. Кому он такой?

И на семена не намолотишь... Но не всякий раз набегают в эту пору разбойничьи суховеи. Успевают затвердеть сок в мучное зерно. Тогда по-урожайному сытно зашумит спелым колосом, желтым соломыстым стеблем пшеница. По самому краешку поля пойдут, поплывут красно-кирпичные комбайны. Потечет ручейками, ручьями, реками зерно. И нет ему счета.

Эх, о многом же передумано, переспорено дружками! Сашку манит море. Если когда что и приснится ему, то — море. Ладно, пусть ему море, пусть учится в мореходном училище, — согласны его дружки. А чем не профессия геолога, врача, учителя или того же инженера, агронома, зоотехника, кинооператора? Да нет им конца, хорошим профессиям! И говорят не наговорятся, и спорят не наспорятся горластые хлопцы. Олег Фомин свое, Александр Сизов свое, остальные тоже сами по себе. И никому, хоть криком кричи, хоть кулаком стучи, никак ее доказать недоказуемое: моя, мол, будущая профессия из лучших самая лучшая, всем нос утрет.

Отмалчивается что-то Миша Письменный. Больше слушает, когда там кому поддакнет. Свои у него ребячьи думки. Небось не отстал бы он от дружков, от других ребят. Ему дорога также не закрыта. Езжай! Была бы охота, лежала бы душа у него к поискам своей доли... А как ты ее, эту долю, будешь искать-шукать где-то в дальней стороне, когда никак

не дается тебе русский язык? Двойки замучили, перед девчонками стыдно. А математика? Опять на двойки. А куда ты сунешься с такими «подлыми» отметками по русскому и математике? Ну, куда?.. Это тебе не пение, не рисование. Хорошо тем, у кого нет двоек. Тому же Чухно, тому же Фомину, отец-то у Олега учитель. Вот и равняйся с таким. Где там!..

Пригорюнится Миша, теперь и слова от него не услышишь, даже не поддакнет никому, не разделит чье-то мнение. Кому они, эти двойки, приходились по душе? Да еще по трудным предметам — русскому и математике. Со зла даже стукнул себя по лбу Миша. И как ты, скажи, выходит? Ведь все свои заработки Миша без учетчика точно подсчитывает, наперед его знает. Трудодни переведет на зерно, в деньги. С математикой же на уроке нет у него никакого сладу. Голова, как решето, ничего не держит. Или страх у него все отшибает?

Ну, ничего, проживем без этой самой математики,— ожесточится вконец Миша, и тут придет неожиданная утешительная мысль: и проживем, да не хуже, чем остальные, чем те же математики, что привыкли пятерки отхватывать. В колхозе всем работа найдется. Сколько лет Миша сам себя обеспечивает? Сам! Даже на руки свои огрубелые глянул...

А тут еще что-либо припомнится, в другую сторону пойдут мысли у хлопца... Проезжал как-то на бричке с парой коней. Можно было бы проехать не мимо школы, но направил коней чуть ли не впритирочку со школой. Да еще пустил коней вскачь. Пропади моя телега, все четыре колеса! Приметил за оградой ребят и девчат, взлетает от их рук кожаный мяч. Сегодня же у двух классных волейбольных команд встреча на выигрыш. Но не за мячом следят глаза Миши,— вон еще откуда узнал он знакомую фигуру в платье. Потому и коней припустил вскачь: авось оглянется... Э, вон летит мяч прямо к ней, к этой фигуре! Как бы не промахнулась. Все играющие глядят на нее, глядят на мяч, ждут удара. А она, заслышав тарахтящую телегу на улице, вдруг повернулась всем корпусом и смотрит — куда ты глаза направила, ну, куда? — на телегу, на все четыре колеса. Мяч же не будет ждать, не будет висеть в воздухе — бряк у самых девчоночьих ног, скок-скок. Эх, как загомонили, как замахали руками игроки! «Зойка! — кричат. — Ты играешь или что? Увидела, да вопрос—кого?» Мелькнули рассерженные, мелькнули смеющиеся лица школьников.

Эй, гнедые-вороны, припусти! Катится

по улице колесный гром.

В колхозе Миша. Здесь же и Зойка. Многие ребята и девчата. А Саша Чухно отослал заявление в Бакинское мореходное училище. По запомнившимся адресам ушли заявления, с аттестатами его закадычных дружков — Олега и Александра. Ждут все трое вызова. В хатах стоят чемоданы. А пока не грешно хлопцам, добрым молодцам, взять в руки лопаты, помочь заложить на пустыре новый сад.

Вскидывают лопаты рыхляк, сыпуче-комковатую землю. В колено, а то и повыше ямки. Прелью и сыростью пахнет со дна, от стенок.

Звякнуло железо лопаты.

— Чему бы тут быть? Камень небось.

Что-то непохожее на камень, отполированное, выглянуло из-под лопаты... И уже сбежались к яме дружки, тянутся к находке руки.

Снаряд!

Вот он, извлеченный из земли, холодит ладони Саши Чухно. И словно с этим снарядом глянула на ребят недавняя война,— посумрачнели молодые лица, темные пятна легли под глазами.

Переходит снаряд с одних ладоней на другие, давит на них своей могильной тяжестью. Немецкий! Издалека явился ты в нашу степь, притаился в нашей земле, из века в век дающей хлеб.

Ой, батьки, батьки, где же вы? Куда смотрят ваши очи? Иль не видите вы — на ладонях у хлопцев смерть?

Ой, маты, маты, да бросьте же вы все, бегите до своих сынов! Ласкается к ним безглазая.

Не приметили батьки, не почуяли беды материнские сердца. А почуяли — не догадались, где она, куда бежать безоглядно.

Отнесли ребята снаряд подальше от жилья, от людей, опустили его в дупло орехового дерева. А когда закончили копку ям и посадку саженцев,— вновь сошлись у старого ореха.

Берут снаряд из дупла, хотят вражий снаряд разрядить.

Склонился над снарядом Олег, тут же Сизов рядышком. А Саша Чухно ухватился за ореховую ветку, подтянул себя на руках и уселся поудобнее, как птица. Лишь Миша Письменный за деревом, за тем орехом, поодаль стоял.

С ударом металла о металл — огнисто рвануло пламя, взметнулся опаляющий пороховой дым, раскатный взрыв ударил по

хатам.

Звенькнули жалобно оконные стекла.
Вскрикнули матери, хватаясь за сердце.
Вскрикнули, бледнея, девчата.
Ой, горюшко-горе! Что же вы наделали,
дети!

Был Олежка — нет Олежки. Тлеет,
дымит рвань от рубашки.

Как подрубленный дубок, качнув
вершиной, наотмашь упал Сизов. Опрокинула,
изрешетила его страшная сила.

И та же грохнувшая, опаляющая сила
швырнула с ореховой ветки Сашку Чухно,
ударила его оземь. Пробили раскаленные
рваные осколки молодое упругое тело.

Был Сашко — нет Сашко. Отмечтался
парень из степного села.

Было их четверо — остался один:
оглушенный, онемевший от увиденного Миша
Письменный. Прикрыло его ореховое дерево,
а горячие снарядные осколки, что несли Мише
смерть, на себя приняло.

Не от этих ли людских страданий,
горько-соленых материнских слез зовется балка
— Горькой?

ГЛАВА 3 ОБНАЖЕННОЕ ГОРЕ

В каждом сердце острой болью
отозвался снарядный взрыв в селе. Обнажилось
людское горе.

Где он теперь, Зойкин батя —
Владимир Петрович Болотов? Кому,
раскрасневшись от бега, принесет она табель
успеваемости? Кто приспустит лохмы бровей,
всматриваясь в отметки?.. И вовсе не страшно,
вот уже ничуть, от этих сердитых бровей, от
прикрытых веками глаз, сжатых губ. Там, за
веками с реднинкой выгоревших от солнца
ресниц, светится отцовская ласка. Она же
таится в губах,— Зойка знает: сейчас, вот
сейчас побегут от уголков жестких губ веселые
морщинки, станут добрыми-добрыми
складками на вечно загорелом и обветренном
отцовском лице с колючим подбородком...

Без отца, без его надежной руки, всегда
готовой прийти на помощь, растет дочка.
Вместо немногословного отцовского письма-
треугольничка с фронтным почтовым
штампом пришла из военкомата похоронная:
пал солдат смертью героя, защищая Советскую
Родину, оберегая тебя, Зоя, твою судьбу и
судьбы таких же, как ты, девчонок и
мальчишек, знакомых тебе и не знакомых.

Побавилось детской прыти,
посерьезнела Зоя. Рано, до срока, явились
недетские заботы, беспокойные думы о жизни,

как ее устроить, что делать? Вот закончена
семилетка. Учиться дальше в школе, а после в
институте или техникуме она никак не могла.
Надо было поскорее приобретать профессию,
становиться опорой для стареющей матери,
осуществлять свое заветное, девичье...

Посодействовал колхоз, помог Зое
окончить курсы счетных работников, стала она
счетоводом колхозной бухгалтерии.

Безотцовщина ждала и Валерика
Козлова. Сложил где-то в финских лесах
солдатскую голову Гавриил Васильевич
Козлов. Остался сыну вместо наследства
отцовский большой, рост и крепкая, широкая в
плечах, ладная фигура. Да завет — любить
землю, на чьей защите, уйдя далеко-далеко от
степей, отдал самое дорогое — свою жизнь его
отец.

В тот же год слегла мать — Надежда
Васильевна, еще молодая, сильная женщина,—
и больше не поднялась. «Кто тебя, мое дитяtko,
приласкает без меня?» — бессильно роняла
слова, а по худым, пожелтевшим, как осенний
лист, материнским щекам скатывались
горючие слезы.

Была Надежда Васильевна звеньевоy,
всю себя отдавала колхозной работе. Славилось
ее звено, величалось стахановским. Что
пшеница, что кукуруза, что подсолнечник у
звена Козловой — будто и желать лучшего
нельзя, куда же еще лучше? До самой уборки
видны были в поле белые платки. Лишь в тихих
сумерках возвращались хозяйки по хатам.
Когда не было войны — с проголосными
песнями, что слышны вон еще откуда по
Горькой балке, что подходили все звучнее к
селу, стройным хором входили на его улицы.
Как же пели эти молодые и немолодые
женщины! Замирали вдоль улиц
крупнолистные тополя, белые акации. Чуть
теплились в вечернем безоблачном небе первые
звезды, казалось, вглядывались вниз, на землю,
на женский хор... Так было, а с войной-
напастью не стало, отошло.

В один год остался без отца, без матери
Валерик. Дед Василий Фролыч запил горькую,
буянил и грозился на все и вся. Не всегда
хлебная краюха была на столе. Но не слышали
от мальчишки жалоб, не клянчил он домашнюю
снедь у товарищей. Не связывался с сорви-
головами, не убегал на попутной грузовой
автомашине, на первом подкатившем к
железнодорожному вокзалу поезде.
Сказывалась привычка к усидчивости в учении,
старание успевать по всем школьным
предметам. В мальчишке незаметно зрела вера в
ученье, в знания, в школу, в то, что только

лишь с их помощью он станет настоящим человеком. Об этом, об учебе, как самом главном для детей, для молодежи, говорил Владимир Ильич Ленин.

Еще от матери узнал Валерик о Ленине. Малыш не запомнил, что шептала ему мать, показывая портрет Ильича, но губы у матери были добрые, ласковые, они приоткрывались, и слова, что выходили при этом, были негромкие, очень добрые и очень ласковые. Глаза Ленина смотрели на него, на малыша, это ему они улыбались, его приветствовала большая мужская рука. И маленький Валерик заулыбался ответно, доверчиво вскинул ручонку — здравствуй!

После, сидя в классе, Валерик слышал не один раз от учителей рассказы о Владимире Ильиче Ленине, и были они ему очень дороги, как правда о знакомом, о близком человеке. И еще сильнее крепло желание учиться так, чтобы это выходило по-ленински, как завещал молодежи, а значит, и ему, Валерику Козлову, этот мудрый и добрый человек.

И отлично учится Валерик, не уступает первенства Любе Куш, никому в классе. Без отца, без матери, но не собьется с пути, не пойдет его жизнь вкось да вкривь.

Не вернулся с фронта и отец Володи Твердохлебова. Помнит мальчишка отцову ярлыгу — диковинную чабанскую палку с крюком на конце для ловли овец. Гладкая, отполированная за много-много лет руками, высушенная солнцем и ветрами до звона, если по ней ударить, — ярлыга притягивала к себе сильнее размалеванного пряника.

Посапывая от неизъяснимого удовольствия мальчуган силился покрепче ухватить скользкое, как выхваченная из воды рыба, отцовское орудие. Но пальцы оказывались короткими. Сопение усиливалось, становилось сердитым. Зато как был доволен мальчуган, когда неподатливое древко с высоко вскинутым крюком ложилось на узкое детское плечо со сползшим воротом рубашки! Стараясь не свалить ярлыгу с плеча, неторопливо бредет по сыпучему песку загорелый чабаненок, свистит по-заправски, — и, недоуменно приподнимаясь, наостряют уши косматые собаки. «Пийшлы!»

Припомнится еще овечий запах, с ним было связано зрительное представление отары — тысячеголового блеющего сборища густошерстных животных. Запах этот нес с собой отец, его брезентовый плащ и фуражка, кирзовые тяжелые сапоги, сумка с ножницами, с креолином в бутылке. Стоило отцу шагнуть через порог хаты, — овечий душок заполнял ее

до всех четырех углов.

Вот и все, что припомнится Володе об отце. А мать, горюя, скажет: «Трудно без хозяина в доме, — помолчит, повздыхает и еще раз повторит это слово: — Трудно!» И это «трудно» приучило Володю и его сестру Зину рано помогать матери. И как запомнилось им всем, когда в урожайном году Зина на очистке зерна на полевом току заработала одиннадцать центнеров пшеницы. Школьница на весь год обеспечила семью хлебом. Этому да не радоваться было ей, девочке-подростку!

На одной потертой парте с Володей сидел Миша Старчевой — бледный худой мальчуган с курчавыми волосами, не поддающимися даже алюминиевой расческе. Сидел Миша прямо, глядел перед собой большими, словно застывшими глазами, не оборачивался, не смотрел по сторонам. А как вздрагивало его щуплое тело при резком ударе, — обронит кто-либо пенал или учебник, стукнет крышкой парты.

И как сверкнут мальчишки и девчоночки глаза, как гневно, строго-осуждающе метнут они взоры на виновника внезапного стука! Знали ребята — далеко отсюда, в украинском селе, где родился и жил со своими родителями Миша, гитлеровские каратели убили его отца. Чужие страшные люди схватили отца, били его прикладами... Мальчик видел все это, он исходил нескончаемым криком, его врасхлест била нервная лихорадка, избелила детское лицо, сделала неузнаваемым.

С того дня занедужился Миша. Страшное видение казни отца не выходило из его памяти, вызывало припадки. И вывезенный из украинского села, живя на новом месте, мальчишка затажно болел, никак не возвращалась к нему детская живость и бойкость.

Тогда, не сговариваясь, повелось у ребят всем классом присматривать за своим товарищем, всячески оберегать его от всего, что могло повредить надломленному его здоровью, хрупкой психике.

Человеческое тяжкое горе переживалось всем классом, глубоко трогало детские сердца. Испытания сближали и роднили ребят, они мужали не по годам.

О, Горькая балка! Сколько же бед, сколько страданий несешь ты в людских судьбах? Не только взрослых, много поживших людей, но и маленьких, беззащитных, кому так нужна ласка. Нужна, как твой хлеб.

ПОЛЮШКО-ПОЛЕ

Школа размещалась в трех одноэтажных зданиях посредине села. Отапливались они соломой и бурьяном, как и колхозные хаты. Под солому, чтобы она не мокла на дворе, отводился один из угловых классов, его набивали доверху. Но рыхлое топливо сгорало, как порох, и не залеживалось. Солому вновь подвозили, сбрасывали наземь, а ребята, толкаясь и обсыпая один другого, переносили ее охапками.

Лишь немногие в «Коммунистическом маяке» припомнят крестьянские поля с частыми межами. Больно давно это было, чуть ли не при царе Горохе. Ребятишки не могли себе и представить, какие это такие полоски-поля, ведь они знали лишь колхозные поля от горизонта, почитай, до горизонта. Вся-то земля, насколько охватит взгляд, вся степь с Горькой балкой — колхозные! Побольше будет тридцати тысяч гектаров.

Среди тех, кто помнил узкие полоски с межами-границами,— Андрей Васильевич Чухно, многолетний председатель колхоза, кто из своих шестидесяти прожитых лет больше половины проработал на этой выборной должности. Да и тому, Чухно, представляется это ушедшее время таким далеким, забытым, что трудно поверить — да были ли они, эти крестьянские межи, эти узкие полоски землицы?.. Пропади они пропадом! Чего о них вспоминать — горюниться, ворошить старое, забытое горе-горькое, крестьянское житье.

Однако довелось старому председателю не во сне, а наяву увидеть снова узкие полоски с частыми межами. Но не у себя в стране, и далеко-далеко — в Индии.

Когда еще летели из Ташкента на многоместном «ТУ-104», не отходил от бортового окна Чухно. Внизу проплывали горные кряжи и теснины Памира и Гималаев, впервые увиденная земля. Как тут люди живут? Ни одного поля не попало на глаза. Да и где ему здесь быть? Каменные хребты сменились равниной. Повеселел хлебороб. Со своими товарищами из советской сельскохозяйственной делегации побывал в индусских селениях, на узких полях, отделенных одно от другого межой. Красноватая почва была суха. Перешли полоску — попали на чужое поле. Вот она, частная собственность! Босоногие крестьяне с намотанными кусками белой материи на головах обрабатывали эти полоски. Мотыга в руках. Лишь в крупных государственных хозяйствах увидели тракторы, машины. Обрадовался Чухно: тракторы-то

наши, советской марки! Плуги многолемешные также наши. Такие на крестьянских полосках с их частыми межами не применишь. Подошел к ближнему трактору и, словно здороваясь, протянул руку. Эх, как его нагрело индусское жаркое солнце! Держись, земляк! Вот где довелось встретиться!

Рассказывает об этом Андрей Васильевич школьникам — и самому ему чудно, что есть еще эти узкие поля на белом свете, а ребятам и вовсе не понять и не представить себе. Поля — они же начинаются возле села, чуть ли не за-дворовой оградой. Вон — поглядите! Сразу не охватить взглядом всю их ширину от края до края. Поверните голову направо, а потом—налево, либо наоборот. Дорога пролегла узкой темной полоской между колхозными полями. Рядом с дорогой — лесная полоса щетинится ветвями. Когда же ветви укроются листвою, то выглядят лесные полосы зелеными валами-стенами, ставшими поперек суховея. И почему так надо,— пожалуйста, любой мальчишка и любая девчонка вам объяснят, все как есть расскажут. А еще лучше потолковать вам с Валериком Козловым и с тем же Володей Твердохлебовым. Многое вам расскажет и Миша Старчевой.

Валерик не представлял свою жизнь без колхоза, без его полей. Да, ходили они всем пионерским отрядом с красным знаменем в Колтуновский лес, в гости к таким же ребятам-детдомовцам. Ходили и подальше, за восемнадцать километров в Урухский лес. Шумной ватагой забирались на речку Куру с обрывистыми глинистыми берегами, где в норах ждали ребячьи пальцы преострые рачьи клешни. Дремучие камыши мерно колыхались под ветром, в них стрекотали невидимые птицы-камышовки. На спокойно-гладкой воде всплескивала рыба, пуская быстро разбегающиеся круги. А сколько веселья было на речных купаньях! Но и лес, и речка, и запруды-водоемы потому были хороши, что рядом на все четыре стороны привольно раскинулись колхозные поля. Они украшали землю, они давали самое дорогое, как сама жизнь, давали хлеб. Это с молоком матери входило в плоть, в детское сознание.

Окончена была семилетка, на этом в те годы завершалось обучение у себя в селе. Ехать куда-то, где имеется средняя школа, Валерик не мог. Распроститься с учебой — этого нельзя допустить, нельзя даже в мыслях держать. А как же быть?.. Обступили немальчишеские заботы, не отмахнуться от них выпускнику. Ишь как вымахал, повзрослел! Но ребячье еще выдает себя во взгляде, в тонине шеи, в порывисто-

сти движений. И неизвестно, как бы он сам выдержал этот житейский иску́с, какой бы выход нашел, да вошло уже у подростка в привычку обращаться за помощью-советом к тем, кто заменили ему отца и мать, — к правлению колхоза, к Андрею Васильевичу Чухно.

Отправили Валерия в Черекскую сельскохозяйственную школу, что в одном из селений Кабардино-Балкарии. И близка эта школа от «Коммунистического маяка», всегда можно добраться без излишних затрат, да и срок обучения всего-то годичный. А закончит ее — колхозу молодой работник, знающий свое дело полевод, свой человек с агрономическими знаниями, с научным подходом к земле, к колхозному полю.

На новом месте он с первого дня, без раскачки взялся за учебу. Здесь, в сельскохозяйственной школе, закладывался фундамент его профессии. Дальше виделся ему техникум, виделся институт, все тот же — сельскохозяйственный. По первым итогам учебы ему назначили повышенную стипендию, как отличнику. Но и повышенная не позволяла свести концы с концами, хотя Валерий не тратился, умел держать деньги в кармане. Вот я пристрастился молодой хлебороб к рыбалке. Никогда не увлекался, а тут не один выходной пропадал на речке, забирался за десятки километров. Подбил его на это однокашник по колхозной семилетке Леонид Слизу́к, в одно время с Валерием принятый в Черекскую одногодичную. Вышли вдвоем они на Старый Черек. Бьется в каменном ложе вода, брызжет холодными каплями у валунов. Не поверил сначала Валерий, что может быть рыба в бешеной речке. Но выхваченные Леонидом усач, а следом пестрая форель были убедительнее любых доводов.

Не один раз довелось и тому и другому добираться в родной колхоз за продуктами. Вкусна рыбка из горной бешеной речки, аппетитна уха, а хлеб всему голова. Без хлеба не прожить. Когда минуло время, сдали экзамены оба — показался им год короче воробьиного носа. С удостоверениями, что их предьявителям действительно присвоено звание полеводов, явились дружки домой. Валерия назначили участковым агрономом. И пришлось ему начинать свою самостоятельную работу не с выращивания озимой пшеницы, любимицы всех колхозников, а с возделывания хлопка. Неведомая в Горькой балке, на ее суходолах культура! Не только самого растения, но и семени его никто не видел. Деды, старухи, и те в недоумении разводили руками. Юный агроном-полевод, признаться, тоже не

видел этого семени в натуре, представлял его по плакату, а колхозники к нему с расспросами, с возражениями: на ляд нам этот хлопок, есть мы его не будем! Земля наша не примет, не будет ни хлопка, ни пшеницы, оголодает народ.

Из района же, из машинно-тракторной станции один указ — сейте хлопок! Он нужен не для одного ситца, понимать надо.

Трудное испытание выпало Валерию, семнадцатилетнему агроному, приставленному к хлопку. Вот тогда проявился у него талант убеждения. У самого у него душа больше лежала к пшенице, но потребовалось дать еще и хлопок. Сбирать его повсюду, где бы он ни рос. И когда разговорится с колхозниками, с колхозницами, то на их доводы выставлял главное: не мне нужен хлопок, а государству. Вырастить же его сумеем.

Лютым врагом всего, что росло, были суховеи. На них не находилось угомона, дули они в любое время года. И в декабре, в январе, если поля не укрыты снегом, свистящие ветры обкрадывали почву, забирали влагу. С приходом весны нагтели суховеи, все чаще совершали опустошительные набеги, не щадя ничего по пути.

Потускнеет даль, поблекнет степь. Словно подпаленная, задымит темно-бурая пашня, — это с налета ветер подхватывает пыль, бросается мелкими комочками. Попался росток — прижал его к земле, рванул из всех сил. Налетел на второй, на третий... Сколько их — зелененьких, слабеньких, и на всех насадет, по-волчьи рвет. Глядь — лишь мелькнет беспомощно зеленый росток. Был — не был.

Пыльная мгла все плотнее застилает поля. Блекло-серым, неприветливым становится небо. Солнце теряет яркость.

Сколько ярости в змеином шипенье-свисте, волчьем завыванье ветра! Слушает Валерий, и тоска, и боль, и гнев томят его, не дают забыться, думать о чем-то другом. У него, у человека, этот ветер сушит кожу, сушит губы, опалает глаза.

Валерий смотрит из-за прикрытых век на пашню. Как от степного пожара, вся она задымлена, всюду, начиная от его ног, скидываются клубки пыли, растягиваясь, мчат куда-то, сливаются, густеют. Стучат по сапогам земляные комочки.

Где же тут сохраниться влаге в сухой, продуваемой насквозь почве?

Сипит, гудит, воет суховей...

... Не от этих ли суховеев, развеивающих почву, лишаящих ее влаги, называли люди балку Горькой?..

Растревоженные мысли не оставляют

Валерия. Мал у него опыт, всего-то делает первые шаги. Да и шаги ли это?.. Правда, хлопок растет. Но жгут его суховеи, не переносит пришелец безводья. Ему бы полив... На поливе бы все росло, зрело. Где только поливную воду взять? Ведь сколько ее надо, страшно подумать. А здесь, в степи, и колодцы обсохли. Заселили их воробьи... И Валерий гнал от себя мысль об орошении: фантазия. Нужно какие-то немедленные меры, вот сейчас. Меры?.. Припоминает все, чему учился в Черекской школе. Волевой призыв Мичурина — не ждать милости от природы, а взять то, что нужно от нее, — требовал действия. И ему, семнадцатилетнему, хотелось действовать — сейчас же, в эту минуту, когда враждебные силы стихии на его глазах разрушают почву — живое тело земли.

По-змеиному, по-гадючьи шипит суховой, нет конца этому шипенью.

ГЛАВА 5 **ВОТ ОНА-ПЕРЕДОВАЯ!**

Окопы с бруствером, земляной насыпью. Колючие проволочные заграждения. Огневые точки. Блиндажи, врезанные поглубже, с бревнами в накат, сверху, заваленные землей. Изломанные хода сообщений. Опаленные взрывом воронки — как кратеры вулканов. И взрывы, взрывы снарядов, мин, авиабомб. И пулеметные, то длинные, то короткие очереди. Треск автоматов. Пушечные сполохи, бешеное вращение гусеничных траков...

Об этой передовой они слышали от тех, кто вернулся с фронта. Об этой передовой они читали в книгах об Отечественной войне, видели ее на киноэкранах. От этой передовой оставались еще полузасыпанные окопы и блиндажи в Горькой балке, скрытая в земле смерть в неразорвавшихся снарядах и минах, изъеденных ржавчиной.

С такой передовой не вернулся Гавриил Федорович Козлов. Не вернулся Семен Корнеевич Твердохлебов. Не вернулись многие из «Коммунистического маяка».

И вот перед сыном Гавриила Федоровича Козлова, как охваченная низовым, стелющимся пожаром, затянутая серой мглой, — гудящая степь. Здесь теперь для Валерия Козлова, для Володи Твердохлебова, Миши Старчевого, для их дружков-товарищей передовая. Без пулеметных очередей. Без пушечных сполохов танков, орудийного грома.

Лютует суховой. Наступает на Горькую балку. Яростные порывы ветра перехватывают

дыхание. Пыль слепит глаза. Гудит в ушах. Словно сквозь дымную завесу видится солнце.

Есть в степях примета: если задует суховой и вечером не стихнет, тогда три дня будет буйствовать. Не прекратится на третий день — дуть ему еще шестеро суток.

Легко сказать — шестеро суток, а как эти долгие сутки прожить полям? На глазах блекнут, «горят», как горестно говорят колхозники. И это «горят» связано испокон веков с бедствием, с разорением крестьян — пожаром, до тла спалющим села и деревни, лишаящим поселян всего имущества, после чего становились они погорельцами, бездомными людьми, нищими. Скитались погорельцы по Руси, вымаливали медяки и кусочки хлеба по градам и весям, вытягивали жилы на непосильных и для лошади работах.

Отошли и забылись те времена, сохранились о них одни дедовские предания. Но на бедствующие от засухи-суховея поля глядят хлеборобы, как на страшное пожарище. Горят родимые...

Что же делать? И перед лицом беды понял Валерий всю трудность борьбы и всю ее сложность. «Одним махом — семерых побивахом», — это лишь в ребячьей необузданной фантазии. Это — донкихотство, еще более нелепое, чем поединок рыцаря на кляче с ветряными мельницами. Да и что собой представляли ветряные мельницы перед суховеем, черной бурей! Борьба с засухой, суховеями требовала времени, не дней и не месяцев, а лет, всей жизни. Да, жизни, его — Валерия Гавриловича! Землю, вот эту пашню, эти колхозные поля, следовало вооружить против жестокой, неумолимой стихии, помочь им выстоять и, несмотря ни на что, дать людям урожай, дать им хлеб!

В бою не без жертв. Опустил руки, пристрастился к «зеленому змию» главный агроном Фокин, топил рассудок и волю в алкоголе. Спился другой специалист — Радчук. Выходили из строя еще и еще. А на их место становились новые бойцы.

Валерий Гаврилович занял место главного агронома. На это его выдвинуло правление колхоза. Правда, очень молод, ему бы еще парубковать, погулять незорно. Но дело не терпит, поля требуют. А Валерия подучил, как-никак, колхоз в Черекской школе, рассчитывал на его силы. Вот и пришло время пустить эти силы на общую пользу.

«Поможем, — вместо напутствия сказал Чухно, — не подведем», — и после этих слов приподнял плечи, будто подставляя их для опоры.

Подошло время и для Володи Твердохлебова. В школе он выглядел меньше меньшего. Феликс Михайлец на год моложе, а Володя ему еле-еле будет до пояса, да и то если приподнимется на цыпочки. «Такого, как Твердохлеб, мизинцем сшибу!» — поддевали его забияки, оттопыривая последний палец на руке. Посмотрят после этого сверху вниз на щуплого товарища и отпустят с ехидцей: «От горшка — два вершка». Однако не торопились доказать на практике превосходство своего мизинца. Во-первых, не ахти что за слава одолеть самого маленького в классе, еще скажут — «эх, смалился!», а во-вторых, была у Володи защита: Шура Брва. Ростом он недалеко ушел от Володи, но был в отличие от него крепышом, отчаянным в схватке. Даже такие верзилы, как Феликс, держались от него подальше.

Но о Брве речь еще будет впереди, а сейчас расскажем о Володе. И, окончив семилетку, он не раздался в плечах, не разогнался в своем росте, как бывало со многими подростками, его товарищами, — по-прежнему выглядел щуплым. «Не хворый ли?» — тревожилась мать, боялась отпустить от своих глаз. Но сначала отправлены были Володей документы на поступление в двухгодичную плодоовощеводческую школу, а вскорости и сам податель этих бумаг отправился за триста километров.

Благословенна быстротечная пора юности, когда в человеке просыпается первооткрыватель и землепроходец, когда все таит новизну! Даже узкая койка, выделенная в общежитии, — особая, неповторимая, не такая, как в родной хате. А как приятно для уха слово «стипендия»! Это и учеба где-то в отъезде, далеко от дома, и впервые почувствованная самостоятельность, когда ты сам вершитель своих поступков, своей судьбы. И, получив первую стипендию, крепко зажав ее в кулаке, Володя по-мальчишески во всю прыть кинулся на почту. Старательно, как сочинение в классе, заполнил бланк денежного перевода, букву за буквой вывел: «Твердохлебовой Пелагее Евсеевне». Половину стипендии маме.

Через два года Володя со свидетельством агротехника-плодоовощевода вернулся в «Коммунистический маяк».

— Гляди, маленько подрос! — удивился Андрей Васильевич Чухно, заметив у себя в кабинете среди посетителей Володю. — Прибавляется в колхозе сила.

Прикинули правленцы вместе с председателем, с главным агрономом, с активом, пришли к одному — направить

Твердохлебова на посадку полезащитных лесных полос. Допекают, не дают жизни полям суховею, и сушит-выжигает их засуха.

Вот и пришлось чабанскому сыну, агротехнику-плодоовощеводу, выращивать лесные полосы в сухоходольной Горькой балке. «Капуста пидожде, хотя и без капусты борща не буде,— глядя на Володю, пересыпая русские слова украинскими, сказал просто, подомашнему Чухно.— Но не буде хлеба — пустым борщом не проживе ни я, ни ты, ни твоя маты, Корнеевич! Так? Так! С тебе буде спрос за ти зелены полосы у степу. С тебе!»

Всю затяжную осень Володя с лесоводческими женскими звеньями сажал малолетки-саженцы белой акации, колючей гледичии. Хотелось бы «прижить» в степи и дуб, и ясень, и клен но без полива чахли их саженцы, высыхали в прутики, в палки. Лишь гледичия да акация укоренялись вдоль полевых дорог, по весне выпускали мелкие листочки. Скупно выпускали их корявые ветви — сосчитать можно, цепко держали при себе. Так и этак набрасывается ветер, рвет и треплет листочки, не дает им минуты покоя, а листочки держатся, зеленеют наперекор суховею. И, вслушиваясь в торопливый говор листы, веселел молодой лесовод. Саженцы жили! Исполдволь, как резервы, накапливали свои силы.

Колхозное поле — не улица, тысячи саженцев нужны для его охраны от суховея, черных бурь. Лопатой много ли ям выроешь? Сколько на это времени понадобится? А поле не одно в колхозе, и все требуют древесной защиты. Обернется каждое деревце — золотым рублем. Не прибыль колхозу, а убыток. Вот тут и пришли на выручку колхозные механизаторы, среди них — Миша Старчевой. Они и землю плантажным плугом глубоко вспашут, и ямы с помощью навесного бура-ямокопателя приготовят, и саженцы лесопосадочной машиной заделают в почву. А вскинутся сорняки — пройдет меж саженцев трактор с культиватором, срежет бурьян, заодно почву взрыхлит — саженцам вольготнее расти.

Сажать деревья в степи надо с умом. Загущишь лесную полосу — ветру не продуть. Даже в малоснежную зиму откуда сугробы возьмутся, чуть ли не до майского тепла лежат, не дают дереву ожить, листу раскрыться. Еще хуже, когда вскинется черная буря: завалит лесную полосу сыпучим песком, пылью. Не лесная полоса — земляной вал. В девять рядов гледичии и белой акации — лучшая для Горькой балки защитная полоса.

С ног собьется Володя Твердохлебов, чтобы всюду побывать, за всем углядеть, поспеть вовремя. Короткий осенний день длиннее летнего кажется. «С тебя спрос», — помнятся слова председателя колхоза. Нет-нет и Валерий Козлов завернет, с механизаторами словом перекинется, международными новостями поделится, а если выйдет заминка с саженцами, — кинется доставить, кого следует подстегнуть.

А Володе нельзя забыть и про старые лесополосы — где убрать сушняк, подчистить, а где молодь посадить. «Будешь знать, как в начальники лезть», — беззлобно смеется Миша Старчевой. Отслужив свой срок в армии, он не задержался на стороне, вернулся в колхоз, с каждым годом растет о нем как о трактористе добрая слава. Сроднился Миша со ставропольской степью, привязался к ней навсегда. И что бы, казалось, в ней такого, притягательного? Смирная, молчаливая земля лежала на все четыре стороны, сходилась вдалеке с небом, таким же молчаливым.

Может, это степное молчание успокаивало, было целебным бальзамом для надломленного человека? Меньше бередили его тяжкие воспоминания войны, отодвигались, теряли болезненную остроту.

Выходит — не одно лишь людское горе несет в себе Горькая балка. Не одними лишь суховеями да черными пыльными бурями напоминает о себе, тревожит хлеборобов.

ГЛАВА 6 СТЕПНЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ

Мальчишкам и девчонкам не представить себе свой колхоз без тракторов, без машинной техники. Даже у них в средней школе, в ученической производственной бригаде, второй год новенький трактор «Беларусь». А в колхозе этих тракторов — колесных и гусеничных — перевалило на вторую сотню.

Тем мальчишкам, что крикливой ватагой бежали за первым «фордзоном», — сейчас за пятьдесят лет.

Привел в Горькую балку не виданный никем трактор Ваня Мартовицкий. Обучили его новой профессии на впервые созданных курсах в Ростове-на-Дону, вручили после экзаменов диковинный аттестат на права тракториста-монтера-пахаря.

И вот парень с таким длинным профессиональным титулом, обряженный в кожаную спецовку из брюк и тужурки, с двухкозырьковым шлемом на голове, стал

кумиром всей сельской детворы. Это не помешало его замысловатый головной убор окрестить «здравствуй-прощай». Передний козырек для здоровствования, второй, задний, — для прощания.

Далеко заморскому «фордзону» до современных отечественных тракторов: и малосилен, тащил за собой всего-то двухлемешный плуг, и приносил уйму неприятностей тому, кто сидел за рулем.

Но ничто не могло отбить охоту у ребят к трактору, к новой невиданной профессии. Не только парни, но и мужики постарше, люди семейные словно захмелели, места себе не находили, так велико было у них желание вместо коня, сивки-каурки, оседлать трактор.

«Возьми, ну, возьми, тебе говорю!» — сорвав с головы войлочную шляпу, обычный в то время головной убор казаков и горцев, повторяет одно и то же Иван Ягодкин, а сам сует ее своему тезке — Ивану Мартовицкому.

Хохочет Мартовицкий, но никак не может отбиться от подарка, насильно всовывает ему шляпу в руки ошалевший Ягодкин, а сам просит, и такая мольба в его голосе: «Возьми, говорю, ну, возьми! Другого ничего нема, понял? Все мое добро — вот эта шляпа. Возьми! Толькой дай посидеть за этой вот... за верталкой, — при этих словах Ягодкин ткнул рукой на руль. — Покажи, брат, как управлять! Отдал бы все, што хошь, не пожалел, да сам видишь — осталась у меня одна вот эта шляпа, бери!»

Нет никакого сладу с казаком, того и гляди за грудки схватит, начнет трясти.

Взял Мартовицкий шляпу и тут же нахлобучил ее на голову распалившегося владельца единственного сокровища, а сам кричит: «Смотри, солнечный удар тебя в темячко стукнет! А за показ я ни шляп, ни штанов не беру. Ты за кого меня считаешь? Я — коммунар! А ты мне шляпу...»

Даже чертыхнулся всерьез. И враз подобрел.

«Вижу, Иван, большая у тебя охота научиться водить «фордзон». Сам вроде тебя был: одурелый, шальной. Знаю! — и после таких слов соскочил наземь. — Так я быть, обучу».

Ягодкин не сразу поверил — всерьез это сказано или в шутку, но от трактора ни на шаг.

«Гляди!» — приказал Мартовицкий.

Вот так, прямо в поле, у «фордзона» началось обучение. Ученик оказался понятливым, видать, его очень подстегивало

желание прокатиться на тракторе, вкусить сладость человеческой власти над чудо-машиной.

Так начиналось обучение новой профессии. От желающих не было отбоя. Беда поджидала в другом: редко кто имел даже начальное образование, а многие не отличали «а» от «б». Пришлось таких неуков сажать за парту. Учились по букварю и у первых тракторов в поле. Практика стала в те годы училищем механизации, трудным университетом жизни.

С уважением вспоминают в «Коммунистическом маяке» о своих механизаторах первого призыва: Иване Мартовицком, Илье Косове, Иване Ягодкине, Владимире Болотове, Петре Чухно, Иване Тимошенко, Федоре Соломщенке, Тимофее Горбовцеве, Иване Шевченко, а за ними — десятки и десятки имен, новое молодое пополнение колхозных механизаторов. Это — становой хребет колхоза, его трудовая гвардия. За двести человек одних трактористов, а с комбайнерами, штурвальными, шоферами, ремонтниками — и в четыреста не уложишься.

Знакомый нам Федор Никандрович Соломщенко не может припомнить точного года своего рождения. Старший брат называл один год, а записали ему другой: посчитали — мальчишка перепутал, мал совсем. Проверить же негде: ни в сельсовете, ни в церкви бумаг не осталось, Отец и мать поумирали. Федя жил у чужих людей за харчи и всякие обноски с плеча. Бродил подпаском с отарой в полынной приманычской степи, что рядом с калмыцкой. Оттуда, издалека, добрался в «Коммунистический маяк». «Как тебя принять? Куда ты годишься?» — удивились здесь. Но хлопец, смахивающий на цыганенка, стоял на своем: «Посадите меня на лобогрейку, увидим еще, кто на что годится!» Здоровые дяди аж грохнули, хватаясь за животы: «Вот це да! Уморил, ей-бо, уморил до смерти! Куда запросился! Да бачил ли ты, хлопче, ту самую лобогрейку?» А хлопец твердит все то же: «Посадите на лобогрейку, тогда побачите».

Хорошо, что подошла на ту пору жатва, когда любая пара рук пригодится в поле. Оказался Федя на лобогрейке. Была такая косилка, недалеко она ушла от своей прародительницы — простой ручной косы. Тащили, правда, лобогрейку кони, а на долю косаря выпадало сбрасывать накошенные навильники. Сидит такой косарь на лобогрейке, на железном сиденье, в руках у него вилы-тройчатки. Подрезает косилка хрустящие стебли пшеницы, валяются они на полку, а бедо-

лага-косарь подхватывает их вилами, сгребает в кучу, чтобы следом одним рывком смахнуть на землю. И некогда этому косарю не то что оглядеться, а даже горячие градины пота оттереть рукавом рубахи со лба. Так и заливают глаза, сползают по лбу, по щекам, по носу. Истинно сказано — лобогрейка!

«Жиловатый, скажи, парнишка! Нашенский — сельский!» — дивились дядьки, и было это лучшей похвалой, признанием пригодности Федю для крестьянской работы.

Может, и толкнуло Федю к трактору это постоянное физическое напряжение всех его сил, тяжелая усталость во всех суставах, в каждом мускуле. Так и этак обхаживал он трактора первых заморских марок «фордзон» и «Джон-Дир», затем отечественный «ЧТЗ». Только не как Ягодкин обучался он искусству тракториста, не предлагал за учење шляпу, а окончил курс при Аполлонской машинно-тракторной станции.

Трактор «ЧТЗ» требовал трех, а то и пяти перетяжек подшипников ежедневно. Ни полевых вагончиков, ни полевых станков. Костер не всегда запалишь. Жили в те годы трактористы, как на фронте. Не часто их видели дома. А пришла война — многие из них пересели с тракторов в танки.

Об этом, как о чем-то очень давнем, расскажет Федор Никандрович и сейчас же сравнит с настоящим. Растянет морщины по лицу, улыбнется, рукой махнет: что, мол, тут сравнивать! И начнет со всеми подробностями расписывать новые марки тракторов.

«Где там! — взмахнет рукой и, помолчав, выскажет самое главное: — На таких тракторах чего только не сделаешь!»

И делают трактористы! Прикрытые снегом, безлюдными выглядят поля. В феврале припечет вдруг — зачернеют дороги, а следом появятся всюду пригревки. Неделя не минет — останутся от зимы одни лишь ночные заморозки да ледяшки на лужах. И нет уже зимнего безмолвия, в полях — гудом гудят от восхода до заката и ночью не затихают машины.

День пройдет, с зарей оглянeshь поля, а их не узнать — всюду поработали тракторы с широкими сцепами борон. И словно полководец перед боем осматривает поля Валерий Козлов, — теперь суховей не застигнет это поле врасплох, не засушит свежевзрыхленную пашню! Да и полезащитных лесных полос прибавилось с осени, и тут потрудились трактористы.

Придет лето — колхозная гвардия не ждет, когда колос совсем вызреет. Тут не

только день, а час может на урожае сказаться. Дунет суховей — и половину зерна не соберешь. Трое-четверо суток, семьдесят два — девяносто шесть часов — да каких суток, каких часов! — сберегает лафетная жатка на свал, раздельная уборка. Когда пшеничное зерно еще мягкое, в молочно-восковой спелости, срежет его со стеблем Миша Старчевой, срежут его товарищи и уложат в длинные валки на стерню. Здесь и дозреет зерно. Тогда подберут подсохшие валки комбайны, выдадут из бункеров первосортное зерно, на ходу ссыпят его в кузова автомашин.

Это твои дары, Горькая балка, щедро поступают в столицу, в далекие города, становятся пшеничной мукой, печеным хлебом, булочками, печеньем, макаронами, вермишелью!

ГЛАВА 7 **С ЦЕЛИННЫМ НОВОСЕЛЬЕМ** **ТЕБЯ, БРОВА!**

Кому что, а Шуре Брова дай все. В школе у него не было нелюбимых предметов, за все он брался охотно, не убегал с уроков. Зато на переменах никакими силами нельзя было его заставить зубрить неувоенное, бродить из конца в конец по коридору. Его видели в толчее ребят, одним из «чапаевых» на ребячьей войне. Взлетит мяч — это уж от его руки, это уж Брова поддал его лаптой. А то согнет спину и кричит: «Прыгай!» И вот один за другим перепрыгивают через него мальчишки, чуть отбегают и сами подставят спину. Глядь — и сам Брова припустит востро, выставив руки и шлепнув ладонями о спину, перемахнул через одного, другого...

Занятия кончатся — Брова с ватагой одноклассников с гамом и шумом кинулись за ребятами из ближнего поселка «Закавказский партизан». Кто-то из них кого-то толкнул из «коммаяцких» или насмешливо выпалил нечто оскорбительное. Так это, без взбучки, пройти не может. Вот и мчатся с гиком и свистом мальчишки, азарт лихого натиска ничем не сдержат. Но удирающие от них «закавказцы», забежав за присельский парк, вдруг обрели храбрость и яро кидались в контратаку. Это их воодушевила близкая околица своего поселка, при взгляде на который откуда брались у ребятешек силы? Теперь им не страшны визги преследователей, готовы «закавказцы» постоять за честь и достоинство своих хат. Быть рукопашной!

И вот он, моральный фактор. Изменчива судьба ребячьей схватки. Улепетывают «коммаяцкие», раскрылетив руки

с выдавшими виды ученическими портфелями.

Эх, отстает Володя Твердохлебов! Далеко забежал, выдохся, а на обратный путь — не хватает. Мал, слабосилен в классе. Но уже заметил Брова опасность, нависшую над Володькой, без промедления бросается на выручку. Его поддержали еще не потерявшие окончательно мужество дружки, и — о сладкий миг потерянной было победы! — «закавказцы» остановились, отдуваясь, в пяти шагах, а затем показали хребет свой, как сказал бы великий полководец А. В. Суворов.

На этом обычно и кончалась баталия. А завтра обе ребячьи стороны всю перемену будут во всех деталях обсуждать происшедшее. И кто его знает, не посчитает та или другая сторона себя незадетой? Быть тогда новому столкновению.

Подрастая, Брова все сильнее увлекался спортом. Чуть свет вскинется с койки, шмыг за дверь. Слегка подавшись вперед и подняв сжатые кулаки на уровень грудной клетки, припустил размеренным шагом по аллеям и дорожкам колхозного парка. Вдох-выдох... Вдох-выдох... Прохладный утренний воздух до отказа распирает легкие, приятно освежает тело. Нечаянно затронул ветку — сыпанула роса. Каждая капелька кольнула родниковым холодом, ночной свежестью. Сил, как от сказочной живой воды, прибавилось. Все чувства раскрыты — видят, слышат, ощущают. Как звонко, словно серебряными молоточками о серебряные наковаленки, бьет птичка на вершине тополя: «чю-ки, чю-ки, чю-ки!» Удивительно чистый серебряный звук! Вскинув голову, пробегает мимо тополя подросток, от его зорких глаз не укроется птаха. Да это же большая белошекая синица! Почему же — большая? Широкий резной тополиный лист заслоняет собой, как занавесью, эту синицу.

А чуть дальше, за парком, где начинались поля, струятся бесконечно, как звонкая хрустальная вода, песни жаворонков. Какой чистый, ничем не стесненный звук! И никак не подобрать к нему фраз, не выразить словами. Льется широко и вольно, струится, расходится невидимыми звучащими волнами. Вся Горькая балка в жавороночьих песнях-переливах. Может, это не одни жаворонки поют? Может, это и сам степной воздух трепещет, поет, может, это и степь с пшеничными полями, с зелеными всходами трав изливается и не может излиться от пробудившихся сил?

Пружинятся ноги. Тело наливается, становится упругим. Но пора! Замедляет шаг бегун, идет размашисто: вдох... выдох... вдох...

выдох.

Завидев его на перемене, кричат ребята: «Капитан!» Спрашивают наперебой — когда сразится их футбольная команда с орловскими школьниками? За буграми село Орловка, там еще средняя школа. И Орловка, и еще более десятка сел и хуторов входят в колхоз «Коммунистический маяк».

Природолюбу и спортсмену, каким был Шура Брова,— прямая дорожка к охоте и рыбалке. Здесь расходились интересы закадычных дружков — Шуры и Володи. «А ну их, этих рыб!» — отмахивался от настойчивых предложений отправиться на рыбалку Володя. Брова же мог весь выходной пропадать на пруду.

А осенью, а зимой едва ли можно было сыскать на всей Горькой балке более заядлого охотника, чем Брова. Не сразу, конечно, явилась сноровка стрелка, не всегда после выстрела оставалась на месте дичь. Закрякав с испуга, улетали прочь расписные красавцы селезни, не оставив на память хотя бы одно-разъединственное бархатное перо с росписью. А то, бывало, вырвется: с треском, с криком-чиргиканьем табунок серых куропаток. Вот они, хоть стволами бей, а после дуплета — летят, хоть бы что. Остается одно стрелку — проводить их глазами. А вдруг какая-нибудь из куропаток перевернется в воздухе да хлоп оземь. Ведь чего не бывает! Послушайте любого охотника.

Встречались ему кулики. Одни всего-то росточком с воробья, лишь, хвостом подлиннее. Шныряют по берегу у самой воды, а то летят низко над прудом и позванивают, словно в бубенцы: «тинь-тинь-тинь!» Зовут их перевозчиками. За то, видать, так зовут, что имеют они привычку с одного берега перелетать на другой. Но кто же из охотников будет тратить дробовой заряд на эту мелюзгу! Налетела случайно на Брову стайка куликов покрупнее. Можно было бы пальнуть, да дал охотник зева.

В листопад вспугнул он в парке диковинную птицу с крупной головой и куличьим клювом. Что за птица? Почему среди кустов и деревьев? В тот же день узнал — это вальдшнеп. Есть среди куликов вот такой, единственный, кому на всякие речки и пруды начихать, подавай ему лес, а на худой конец, когда приткнуться негде, — хотя бы парк, сад.

Сколько неизведанного на свете! И до чего же хочется обо всем узнать, все самому увидеть, разгадать. Того же зайца взять. Иной у забора выгребет ямку, приляжет на дневку. Свыклись, пригляделись к хатам, к человеку.

Любой мальчишка знает про косого, да не из сказок, а сам видел и еще кричал во все горло: «Ату его, ату!» Или пальцы сунет в рот и как свистнет, зайца как будто кнутом огреют, так он свои уши заложит, а сам вытянется в струнку, не скачет, а летит, как птица.

К тому все это сказано, что заяц всем знаком, кажется, все о нем известно. А как зайчиха своих зайчат выхаживает — никто ничего толком сказать не может. Маленьких, пушистых, их часто находят даже среди снегов в феврале. И почти всякий раз в одиночку, а если поискать — поблизости еще найдутся. Но норы заячьей, теплого логова для малышей никто не сыскивал, никому они не попадались. И зайчихи не окажется рядом. Кто же зайчат оберегает? Когда же их зайчиха молоком поит? Как их разыскивает в степи? Много загадок встает, и как бы ему, Брове, хотелось самому эти загадки разгадать. Да не только с зайцами. Много еще всяких тайн вокруг.

И скажите, хватало времени этому парнишке на все! Учебников он не забрасывал, во второгодниках не засиживался в классе, с ружьем, с удочкой не расставался, футбольный мяч гонял целыми часами, а там, смотришь, еще и на трапедии, на кольцах, на турнике всякие штуки выделывает. Мало ему этого — еще в музыканты подался, в колхозном духовом оркестре на альте играет, да не как-нибудь, а по нотам. Заодно и Володю увлек, тот разучивает свою партию на трубе, Феликс — на баритоне. Такой уж характер у Бровы, мало ему себя интересным делом занять, обязательно еще и других ребят притянет, завлечет. И приглядчив, и сметлив не на одной лишь рыбалке да охоте. А сердце у него доброе, мамино, по слову ребят.

Капельмейстером духового оркестра оказался нездешний человек Владимир Григорьевич Железнов. С войны он вернулся инвалидом, жил бобылем, не всегда был сыт. Дело же свое любил, знал в нем толк и сумел у ребят вызвать такое желание играть в оркестре, что те готовы были, как говорили матеря, «пропадать» на репетициях. Но Брова как-то, будто невзначай, поделился прихваченной из дому едой с капельмейстером. Вскоре все оркестранты делились домашней снедью со своим учителем, оберегали его от запоя. И вот уже без духового оркестра не обходится ни один праздник, ни одно из народных торжеств. Все, от председателя Чухно до любого колхозника и колхозницы, очень своим оркестром довольны.

Но и на этом не успокоился Брова, не перестал находить для себя новые увлечения,

новое приложение неизбывных ребячьих сил. Обуяла его страсть к резвым красавцам коням. А надо сказать — колхоз создал конюшню племенных скакунов, начал выводить их на Пятигорский ипподром. И стоило увидеть парнишке, как сорвались с места беспокойно топтавшиеся кони, как, вытянув шеи, понеслись они в отчаянной скачке, — проснулся в нем жокей, наездник. Начались дни выездов, тренировок. А там подошел незабываемый день первого участия в конных соревнованиях. Прильнув к самой гриве, слившись с конем, слыша лишь свист рассекаемого словно клинком воздуха, мчался колхозный жокей к заветному финишу.

И вы теперь подумаете: «Наконец-то успокоится парнишка, нашел свое призвание!»

Должен вас сразу же разочаровать. Нет, не такой Брова, чтобы предаться одной страсти, одному увлечению. Не такая у него натура, не то сейчас время. Раскрывай всего себя, ничему не давай залежаться, оказаться под спудом. Берись, пробуй, находи! У каждого человека есть свой клад. А клады надо искать, их надо найти, раскрыть.

И вот наш знакомый — на радиоузле. Зелеными глазками глядятся аппараты. Новые впечатления, новые мысли волнуют его. Велик мир, безграничны просторы... Потрескивает, где-то бушует гроза, молнии наносят на черные тучи свои мгновенные огненные письма. И вдруг по невидимой воздушной волне, вмиг преодолев тысячекилометровые расстояния, зазвучала музыка. Эфир жил, нес с собой голоса далекой, незнакомой жизни. Разноязычная речь, пение, хоровое и сольное, музыка, несхожая между собой, как и разноязычная речь. Можно забыть о времени, о себе и лишь вслушиваться, улавливать этот многоликий далекий мир, почувствовать себя, пусть маленькой живой песчинкой, человеком этого невидимого для глаза, бесконечного в своей протяженности, в своих контрастах мира.

«Говорит Москва!» — пришло оттуда, издалека. И, чередуясь, то женский, то мужской голос, будто их обладатели здесь же, рядом с тобой, рассказывают, рассказывают, щедро делятся новостями большой всемирной жизни.

На радиоузле в Горькой балке — дежурный Александр Брова... Почему же она, эта балка—Горькая? Опять встает и тревожит вопрос...

Но и работе на радиоузле пришел конец. Понадобились люди на целинные земли. И, как нельзя удержать весной вольную птицу — рвется она в далекий путь, к гнездовьям, так

потянуло в неизвестную дорогу, захватило всего Брова. Ничто не стало ему мило, даже рыбалку забросил, об охоте больше не помышлял. Страна звала своих сынов на новые дела — к заселению пустынных земель, к пробуждению вековой целины и залежи на сибирских, алтайских, казахстанских просторах.

Был Брова комсомольцем еще со школьной скамьи, а Володя Твердохлебов даже избран секретарем комсомольской организации первой колхозной бригады. Вот и сговорились оба дружка отправиться добровольцами на целину. Еще один — Володя Мурашко — присоединился к ним.

Пелагея Евсеевна в слезы — не пущу своего. «На кого ты меня покидаешь? — вцепилась в Володю Твердохлебова. — Не дам своего материнского разрешения. К Чухно побегу, к партийному секретарю. Нет закона лишать мать единственного сына!»

Уехали двое — Шура Брова и Володя Мурашко. Напоследок оглядели родное село, вставшие высоченной стеной деревья колхозного парка, всю Горькую балку — с пшеничными, кукурузными, подсолнечными полями, с полезающими к зеленому краю земли безоблачному синему небу.

Приумолкли парни: час прощания — час грусти, глубоких раздумий, волнения, воспоминания. Да, воспоминаниями становится все, что было до этого часа.

Прощай, «Коммунистический маяк»!
Прощай, Горькая балка!

Здравствуй, новая жизнь! С целинным новосельем, Брова, парень-непоседа! С целинным: новосельем, Мурашко!